

МЕМУАРЫ И ТЕМА ПАМЯТИ В ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ЭЛЬДА ГАРЕТТО

Особая важность мемуарных публикаций для русского зарубежья — очевидный факт, подтвержденный как количеством такого рода текстов, так и оживленностью дискуссии вокруг них.

Особое положение русской эмиграции первой волны в европейской истории и ее уникальность как культурного явления позволяет рассматривать в едином контексте не только собственные мемуары, но и общий процесс памяти, во всем многообразии ее проявлений, как в литературе, так и в самой жизни русского зарубежья.

В начале 1920-х гг., после полного поражения всей внутренней оппозиции, военной и политической, и массовой высылки из России представителей интеллектуальной элиты, русская эмиграция постепенно осознает, что для тех, кто не согласен примириться с новой властью, ставшей признанным и полноправным субъектом на международной арене, скорого возвращения на родину не следует ожидать. В таких условиях индивидуальная и коллективная память приобретают важнейшее значение. Главной целью становится фиксация того сложного процесса, который привел к революционной катастрофе, и попытка понять его, объяснить себе и грядущим поколениям. Эмиграция осознает себя единственной хранительницей духа русской культуры. Центры диаспоры превращаются в огромные лаборатории по восстановлению, сохранению и защите национальной и индивидуальной памяти. Достаточно назвать Русский Заграничный Исторический архив в Праге. В том же ряду можно рассматривать циклы конференций по русской литературе и истории, беседы, лекции и собрания, посвященные как прошлому России, так и индивидуальному жизненному опыту, юбилеи в честь виднейших представителей эмиграции.

В периодике тех лет и отдельными изданиями выходят многочисленные дневники и воспоминания, принадлежащие перу как военных и политиков — участников Белого движения, так и разных литераторов. Большинство этих публикаций повествовало о днях революции и эпизодах Гражданской войны; часто описывалось бегство из «Совдепии». Наряду с этими документальными свидетельствами о недавнем, газеты и журналы русской диаспоры много места отводили рубрикам «Литературный альбом», «Записки писателя», «Из литературных дневников», где писатели и публицисты помещали воспоминания о своих современниках и эпизодах ушедшей эпохи. Даже дневники, написанные по горячим следам событий революции и Гражданской войны, как «Окаянные дни» И. А. Бунина и «Синяя книга» З. Н. Гиппиус, в силу своего позднего появления в печати, органично вливались в общий мемуарный поток и относились современниками к сфере воспоминаний.

Для мемуарной литературы характерен ряд мотивов, определенных самим положением эмиграции. В ее рядах постепенно развивается и крепнет сознание того, что рубеж, отделяющий ее от России, связан не только с категориями пространства (в России / на чужбине) или времени (до революции / после революции), но и с жизнью и смертью: смерть / жизнь в России, смерть / жизнь эмиграции и ее духовного мира. Для многих переселение, отрыв от России равны катастрофе, землетрясению, смерти художественного творчества. Значительная часть эмигрантских мемуаров первой поры посвящена памяти только что ушедших из жизни современников. Каждый из умерших — Блок, Брюсов, Сологуб, Гумилев, — представляли собой целую эпоху, и своим внезапным уходом унесли с собою часть недавнего прошлого, отодвигая его в бесконечную даль. Воспоминания о них составляют ядро двух главных литературных мемуаров эпохи: «Живых лиц» З. Н. Гиппиус и «Некрополя» В. Ф. Ходасевича. Эти книги, создававшиеся почти одновременно (хотя и были изданы с разницей в полтора десятилетия), переключаются не только набором персонажей, чьи посмертные портреты в них даны, но и эмблематичной антиномией заглавий.

Мемуарная литература и место мемуариста живо обсуждались на страницах периодики и в писательских кружках и организациях. Своеобразный образец такой дис-

руссии — рецензия В. Ф. Ходасевича на «Живые лица» Э. Н. Гиллиус.¹ Ходасевич определяет создание и публикацию мемуаров как «процесс первоначального накопления» документов. Он видит в воспоминаниях первоисточник для будущей работы историка. Если, с одной стороны, «правдивость — главное, основное требование предъявляемое к мемуаристу», с другой — Ходасевич защищает индивидуальную точку зрения мемуариста, отстаивает его право быть субъективным, ибо мемуарист должен быть «свидетелем», а не «судьей». Все же — утверждает Ходасевич — роль мемуаров — исключительно служебная, вспомогательная. Мемуарная литература предстает, таким образом, частью хранилища памяти, и в гораздо меньшей степени связана с литературным процессом.

Однако литература памяти не исчерпывается одними только мемуарами. К ней закономерно можно отнести все произведения автобиографического жанра, включая те романы и рассказы, которые можно назвать, наряду с «Жизнью Арсеньева» И. А. Бунина, «вымышленными автобиографиями».² Сюда же нужно включить и «рассказы о России», т. е. произведения, в которых на первом плане стоит образ России, данный в особом освещении. К этой группе относится большая часть зарубежного литературного творчества И. С. Шмелева, И. А. Бунина и существенная часть произведений М. А. Осоргина, Б. К. Зайцева, А. И. Куприна, М. И. Цветаевой, Тэффи и Ф. А. Степуна.

В литературных спорах первого десятилетия эмиграции тема памяти и воспоминаний включалась и в более сложные и глубокие контексты. Теснейшим образом она была связана с вопросами о характере, роли и судьбе эмигрантской литературы. Поскольку связь русского писателя с родиной, с прошлым и с традицией понималась по-разному, то и тема памяти получала порой весьма противоречивые толкования.

Если, как писал Георгий Адамович, «Россия не есть понятие, которое можно разводить по частям; язык есть форма духовной жизни народа», тогда возможно ли творчество за рубежом, в отрыве от родины? Или эмиграция обречена жить в трагической раздвоенности? Эти роковые вопросы задавали себе многие писатели-эмигранты. Для такого мировосприятия память и воспоминание имели колоссальное значение. Ведь только через них можно

было восстановить утраченную связь с родиной, «воскресить», «оживить» прошлое, русскую действительность, русский быт, русский язык во всем многообразии его интонаций и стилей. Если, как думалось некоторым, можно было жить и творить только благодаря памяти и воспоминаниям, то особенно печально выглядела судьба более молодых эмигрантов, которые будут названы В. С. Варшавским «незамеченным поколением»: «Они еще помнят Россию и на чужбине чувствуют себя изгнанниками. <...> воспоминаний о России у них слишком мало <...> В этом их отличие от поколений старших. <...> есть в их судьбе сходство с судьбой всех «лишних людей» русского прошлого <...>»³.

Если оторванность от России означала потерю жизненной силы; если писатель, нераздельно связанный с родиной через язык и жизнь народа, присужден к смерти в отрыве от нее, то единственное спасение — «сотворить в слове и в образах Россию», во всех ее повседневных деталях.

По такому пути пошел Шмелев в «Лете Господнем». Это произведение можно взять в качестве самого яркого образца «идиллической, ностальгической литературы памяти». После трагической эпопеи «Солнце мертвых», в которой Шмелев изобразил послереволюционную жизнь в Крыму, ужасы, страдания, голод, смерть, автор описывает подробнейшим образом все детали жизни русского народа и купеческой среды, все церковные и домашние обряды, воссоздает полную картину русской жизни прошлого, воссоздает язык, с его разными говорами. Для сотворения такого «потерянного рая» автор умышленно аннулирует историческое время и заменяет его другим, вечно повторяющимся: временем природы и церковных праздников. Аннулирование исторического времени реализуется посредством простого приема: автор вполне идентифицируется с шестилетним мальчиком, от лица которого ведется повествование, и никогда не комментирует происходившее своим «взрослым» голосом. Следовательно, аннулируется также возрастное время.

Все кристаллизуется в вечном измерении. Пространство делится на дом, улицу, город Москву. Город этот опять-таки не несет на себе никаких следов исторического процесса: описание его может относиться как к началу, так и к концу века; в словах отца героя-повествователя

Москва, как в известных стихах, — «город чудный, город древний». В таком мире вполне идеализированы социальные отношения: никакого следа конфликтов, последовавших за великими реформами; этот мир очень напоминает патриархальный мир «Сна Обломова» в городском варианте, правда, в нем нет даже той легкой иронии, с которой ведется повествование у Гончарова.

«Лето Господне» можно считать типичным образцом «идиллии» в варианте семейного романа. В нем, в отличие от типичного семейного романа, сохраняется более архаичное отношение времени к пространству и используется фольклорное время (циклическое — ритмическое).

В других произведениях эмигрантской литературы историческое время не только заменено сказочным, но при этом используются и классические обороты фольклорного жанра. В рассказе «Далекое» Бунина, например, читаем: «Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате <...> некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иванович <...> Из году в год жила, делала свое огромное дело Москва».⁴

У того же Бунина имеется очень интересный образец того, как процесс памяти полностью меняет не только временные, но и пространственные отношения: в рассказе «Поздний час» из цикла «Темные аллеи»⁵ время конденсируется и спрессовывается в неопределенное «прошлое», которое охватывает всю прошедшую жизнь. Но самое фантастическое происходит с пространством: границы между странами исчезают, больше нет России или других стран, Ярославль «накладывается» на Суэцкий канал, Париж на Москву. Топонимика воображаемого города сводится к отвлеченным топонимам: город, мост, Старая улица, Базар, Монастырская улица.

Типология мемуарной литературы русского зарубежья разнообразна, но очень многие ее произведения относятся к рассмотренному выше идиллическому типу или к главному его варианту: к теме разрушения идиллии; иногда в одном и том же произведении сосуществуют как идиллия, так и ее разрушение (см. «Золотой узор» Б. К. Зайцева).

Характерной чертой автобиографических романов и рассказов русского зарубежья является также довольно слабое внимание к самому механизму памяти, к описанию процесса становления личности, сознания, как это было свойственно западному современному автобиогра-

фическому жанру, который от Пруста до Джойса опирался как раз на психологический анализ, на игру умственных ассоциаций.

В эмигрантских вариантах преобладает память о потерянном времени и пространстве: отчужденное пространство, изгнание из отчего дома или добровольный, но все равно трагический уход.

Может быть, такой более архаичный вариант «семейного романа», такое отступление от типичных приемов западной автобиографии можно объяснить особой, коллективно-исторической, миссией, которую ощущала за собой эмиграция. В этом новом историческом сюжете было более развито чувство общего культурного процесса, чем индивидуального развития.

Но именно такая литература (идиллической или воскрешающей памяти) со временем породила у части эмиграции сомнения в своей «творческой продуктивности» и заслужила отрицательные отзывы.

В статье 1933 г. «Литература в изгнании» Ходасевич пытается определить «пульс» эмигрантской литературы и предугадать возможности ее развития.

В первую очередь он опровергает мнение тех, кто с самого начала заявил, «что самое ее бытие биологически невозможно, что если она еще существует, то лишь в силу инерции, что она не даст новых побегов и сама задохнется, потому что оторвана от национальной почвы и быта, потому что принуждена питаться воспоминаниями, а в дальнейшем обречена пользоваться сюжетами, взятыми из иностранной жизни».⁶

Такие предсказания кажутся Ходасевичу несостоятельными, поскольку «Национальность литературы создается ее языком и духом, а не территорией, на которой протекает ее жизнь, и не бытом, в ней отраженным» (258).

Ходасевич опять возвращается к роли воспоминаний и ликвидирует очень резко все «литературные отражения быта» как имеющие ценность исключительно для «этнологических и социологических наблюдений», но «не имеющих никакого отношения к задачам художественного творчества» (258).

Он приводит в доказательство своего убеждения «Маленькие трагедии» Пушкина, действие которых происходит не в России.

Ходасевич продолжает: «История знает ряд случаев, когда именно в эмиграциях создавались произведения, не только прекрасные сами по себе, но и послужившие завязью для дальнейшего роста национальных литератур» (259); самый яркий пример тому — «Божественная комедия».

Ходасевич утверждает, что задача сохранить и передать будущим поколениям русскую литературную традицию была понята и реализована неверно, особенно представителями старшего поколения. Они «принесли с собой из России готовый круг образов и идей <... > Творчество их в изгнании пошло по привычным рельсам, не обновляясь ни с какой стороны. Рассеянные кое-где проклятия по адресу большевиков да идиллические воспоминания об утраченном благополучии не могли образовать новый, соответствующий событиям, идейный состав их писаний. Их произведения, помеченные Берлином или Парижем, могли быть написаны в Москве или в Петербурге. Казалось, писатели перенесли свои столы с Арбата в Отей, чудесным образом не сдвинув с места ни одной чернильницы, ни одного карандаша, и уселись писать как ни в чем не бывало» (263).

Ходасевич не отрицает, что эти писатели в отдельности создали превосходные вещи, но они, все вместе, остановили движение эмигрантской литературы и привели ее к ситуации, которая «влечет за собой свертывание крови, смерть, а затем распад всего организма» (262).

Оказалось, наконец, что «самим принципам и основам литературной работы нельзя учиться у людей, смотрящих лишь на прошлое и решительно не интересующихся теоретическими вопросами литературы» (267).

(Спустя 40 лет И. Бродский будет называть характерной чертой всякого изгнанника «гипертрофированный ретроспективизм». «Ретроспекция занимает в его существовании чрезмерное место. Она заслоняет реальность и затемняет будущее завесой куда более внушительной, чем самый густой туман. У изгнанника, как у дантовских лжепророков, голова постоянно отвергнута назад и слезы или слюна текут по спине. Пишущий же, даже получив свободу передвижения, не может никак оторваться от мира своего прошлого и, в определенном смысле, только прибавляет все новые и новые главы к своим прежним сочинениям».⁷⁾

На опасения Ходасевича откликнулся через несколько лет Ф. А. Степун в предисловии к своим воспоминаниям: «Пристрастные к прошлому и несправедливые к настоящему, воспоминания неизбежно разлагают душу сентиментальной мечтательностью и ввергают мысль в реакционное окаменение. Будем откровенны, и того и другого все еще очень много в редущих рядах старой эмиграции.

Новая эмиграция нашими недугами не страдает. Ее опасность скорее в обратном, в полном отсутствии пленительных воспоминаний. Соблазняет людей, родившихся под красною звездой, образами затонувшей России — дело столь безнадежное, сколь и неправильное. <...> Общих воспоминаний у нас быть не может, но у нас и может и должна быть общая память.

Ты, память, муз вскормившая, свята,
Тебя зову, но не воспоминанья.

В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду о себе.

Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».⁸

Именно такая постановка вопроса приводит очень естественным путем к теме «творческой памяти», как она представлена в статье Ю. М. Лотмана «Память в культурологическом освещении».⁹

В этом ракурсе довольно показательна оживленная полемика о роли Пушкина и его традиции в русской диаспоре, развернувшаяся в те годы в Париже.

Самая интересная «квадратура круга» сложного вопроса о памяти, заключена, по-моему, в творчестве В. Набокова, особенно если мы примем во внимание три разных варианта его мемуаров: «Conclusive evidence», «Другие берега» и «Speak, memory». Самое интересное для темы «творческой памяти» — сопоставление этой тройной биографии с романом «Дар» и, главным образом, с его автобиографическими элементами. В связи со сложной структурой романа, похожей, как пишет Сергей Давыдов,

на русскую матрешку, эти элементы разбросаны по всему тексту и оперируют на разных уровнях.

Один из центральных автобиографических мотивов, т.е. воспоминания героя-повествователя об отце, тесно связан с пушкинскими мотивами (как известно, описание последнего путешествия отца Годунова-Чердынцева является вариацией пушкинского «Путешествия в Арзрум»). И вообще, кроме этих явных откликов, весь роман ориентирован на Пушкина и на тему творчества как такового.

В «Даре» творческая память (пушкинская тема) тесно переплетается с индивидуальной (воспоминания Набокова) и с эволюцией творческой личности (Набоков-писатель). В романе «Дар» область литературы и культуры не остаются в смысловой сфере, а входят прямо в хронологическую структуру. Именно таким образом можно объяснить то, что Набоков написал в предисловии к американскому переводу «Дара», — что настоящий герой романа — это русская литература.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: Ходасевич В. <Рец.>. З. Н. Гиппиус. Живые лица: В 2 т. Изд. «Гламья». — Прага, 1925 г. // Современные записки. — Париж, 1925. — № 25. То же см.: Гиппиус З. Н. Стихотворения; Живые лица / Вступ. ст., сост., подгот. текста, коммент. Н. Богомолова. — М., 1991. — С. 403–409.
- 2 Так охарактеризовал «Жизнь Арсеньева» В. Ф. Ходасевич в своей рецензии в газ. «Возрождение» (Париж, 1933. — 22 мая).
- 3 Варшавский В. С. Незамеченное поколение. — Нью-Йорк, 1956. — С. 17.
- 4 Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1988. — Т. 4. — С. 233.
- 5 См.: Там же. — Т. 5. — С. 277–282.
- 6 Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. — Нью-Йорк, 1954. — С. 257–258. Далее ссылки на это издание даются в основном тексте с указанием страницы в скобках.
- 7 Из речи «The condition we call exile», произнесенной в Вене в декабре 1987 г.
- 8 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Изд. 2-е (I–II). — London, 1990. — С. 7–8. То же см.: Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. — М.; СПб., 1995. — С. 5–6.
- 9 См.: Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. — Таллинн, 1992. — Т. 1. — С. 200–202.